

Часть вторая

Эпический гений и злодейство

Литературные лентяи, такие как вот я, избегают сочинять романы и повести. Крупные и полукрупные формы отпугивают своим женским плодовоовощным изобилием, потому что они требуют долгой изнурительной пахоты.

А если я быстро устаю?

Если я не герой-любовник?

Не садовник?

Не цветок?

И одиноко сажу в темнице собственной квартиры (ее, кстати, давно пора отремонтировать)?

Что тогда остается? Одно сплошное безденежье и зависть к более успешным коллегам по перу.

Да и к каким еще коллегам?

Тем, которых по телевизору показывают? И которым премии вручают?

Я им не ровня...

Куда там...

Они так ловко пишут. Так бодро.

А вот мне даже простой сюжет толком не удается.

Хотя, знаете, было время, я мог сочинять сказки. Мне тогда исполнилось пять лет, и я еще читать толком не умел. Приходилось просить маму за мной записывать. Мама в таких случаях вздыхала — ей казалось, что у дочери академика более высокое предназначение в жизни, — вздыхая, долго искала письменные принадлежности. Потом устраивалась в крошечном гэдээровском кресле и, раскрыв толстую тетрадку на коленях, начинала выжидательно постукивать по ней ручкой. А я, увидев, что она готова, тут же безо всякого смущения принимался торопливо рассказывать очередную сказку, которую, как правило, сочинял экспромтом. Мама за мной старательно записывала, иногда прося уточнить некоторые детали.

— Дыхнул, значит, Змей Горыныч в Ивана-царевича огнем, — говорил я, — и тот от него сразу отлетел на десять метров.

— Именно на десять? — участливо переспрашивала мама. — Ты хорошо подумал, Андрюша? Может быть, достаточно трех? Давай напишем лучше “три”. Все-таки Иван-царевич... как-никак герой.

— Ладно, давай, — соглашался я. Мне было приятно, что мама проявляет интерес к моему творчеству.

Я решил сочинять собственные сказки, потому что те, что были в книжках, меня решительно не устраивали. В них все казалось скучным, нечестным и вызывало протест. Заранее было ясно, что положительные герои, эти наглые, смекалистые зайчики, белочки, коньки-горбунки, всякие там Иванушки-дурачки, Иваны-царевичи, скучные златовласки, белоснежки и василисы победят, в конце концов, злобных лис и волков, страшных великанов, разбойников, людоедов, победят Горыныча, и даже Кашея (а он так старался, так хитро прятал от посторонних свою смерть!). В реальной жизни дела обстояли примерно так же.

Помню, Лариса Пална, воспитательница в детском саду, нам рассказывала про то, как добрые рабочие и крестьяне прогнали злого старого царя, а вслед за ним — министров-капиталистов. Я очень удивлялся, почему их прогнали по очереди, а не одновременно. И вообще не мог понять, откуда эти лиходейчики взялись, хотя с какого-то момента догадался, что, видимо, враги прибывали к рабочим и крестьянам поочередно и совершали свои злодеяния тайно, пока их, наконец, не разоблачили. Еще она нам читала вслух сказки про Чиполлино и про Буратино.

Я слушал воспитательницу и всегда оставался недоволен. Победители вызывали у меня почему-то раздражение, а вот побежденные, наоборот, — сочувствие и жалость. Я жалел старого царя, которого прогнали. Жалел министров-капиталистов. Жалел

сеньора Помидора, которого Чиполлино, этот луковый деревенщина, заставил плакать. Жалел Карабаса-Барабаса, которого обманул и обокрал деревянный длинноносый выскочка, тупой, как дрова.

И вот я захотел восстановить справедливость и помочь злодеям. В моих сказках все было наоборот. Отрицательные персонажи давали решительный отпор положительным. При этом положительные персонажи действовали подло, нападая на отрицательного всей гурьбой. В свою очередь, злодей у меня сражался в одиночку против ватаги честных, добрых, доблестных героев и непременно побеждал. Иногда, впрочем (тут я, как истинный сказитель, отдавал дань традиции и реализму), он погибал в неравной схватке, но всегда успевал убить или съесть кого-нибудь из своих недругов. Особенно доставалось всякой нахальной живности, которая была на побегушках у этих Иванушек и Василис, прислуживала, подзуживала, подсказывала, подобострастно суежилась, повсюду совала свой хитрый нос или глупый клюв. Этим волшебных помощников я карал безо всякой жалости, напрямик отправляя в пасть хищнику.

Моя фантазия была неистощима, но маме это, похоже, с какого-то момента стало надоедать. Она все чаще прерывала мою диктовку, как правило, в самом захватывающем месте, говорила, что “дела” и что “некогда”.

Как-то раз вечером, когда отец вернулся с работы, мама со словами: “Леша, я сейчас тебе кое-что покажу”, — достала из ящика письменного стола тетрадь, куда заносила все мои сказки, и прочитала одну из них ему вслух. Помню, как оба давились от хохота. Отсмеявшись, отец нахмурил брови и сказал, чтоб мама “прекратила издеваться над ребенком”, а мне посоветовал выбросить из головы всякие глупости и “заняться делом”. Каким “делом” я должен был заниматься пяти лет отроду, отец не уточнил. Но с тех пор со сказками было покончено раз и навсегда. У меня появилось стойкое отвращение к сочинительству, особенно если нужен сюжет.

Так погасили тот эпический огонь, который едва начал во мне разгораться. Ну не то чтобы разгораться, но, по крайней мере, мерцать.

Я в последнее время все чаще думаю: кем бы я стал, если бы родители меня тогда поддержали? Наверное, каким-нибудь модным московским писателем или сценаристом.

Москва: издательский дом

— У вас не проза, Аствацатуров, — сказала мне, дымя сигаретой, одна грузная литературная дама, — а огрызки из отрывков. — Или она тогда сказала “отрывки из огрызков” — я не помню. В любом случае, получилось очень остроумно. — Такое, — про-

должала она, — печатать никто не будет. Тем более наше издательство.

Я сидел в мягком кресле, приставленном боком к огромному редакторскому столу, неуклюжему и неожиданному символу ностальгии по советским временам в окружавшей его суете мелких, но многочисленных проявлений ультрасовременной дизайнерской фантазии. Такой интерьер встретишь только в московском издательстве, вполне успешном на нынешнем рынке и при этом помнящем славную эпоху большого стиля, больших писателей, больших проблем, больших книг.

— Вы, дорогой мой, — продолжала дама, — не умеете строить сюжет, перескакиваете все время с пятого на десятое, рассказываете какие-то глупости, повторяетесь, ковыряетесь в никому не нужных мелочах, как, извините, жук в дерьме.

— Это папа с мамой виноваты, — начал оправдываться я. — А вот в детстве...

— При чем здесь ваши папа с мамой?! При чем здесь ваше детство?! Читателей ваше детство совершенно не интересует! — в прокуренном голосе литературной дамы появились нотки раздражения. — Вы с человеческим материалом работать не умеете! Понимаете?

— Почему это не умею? — обиделся я.

— Не знаю уж, почему, — ответила дама. — Поймите, — ее голос стал мягче, — поймите, Андрюша... Можно мне вас так называть? Это для ваше-

го же блага. Сейчас, когда все так сложно, сложно, сложно, не улыбайтесь, оглянитесь вокруг, главное для писателя — человек, персонаж. Людей, дружочек мой, соединяют едва уловимые нити, и писатель, — тут она тронула кончиком сигареты край пепельницы, — обязан идти, двигаться, так сказать, в фарватере времени, должен мыслить сюжетно. Почитайте нынешних авторов... наших московских. Поищите. А потом приходите к нам. Талант у вас ведь есть... Придумайте что-нибудь. Словом, дерзайте.

— Спасибо, — ответил я. — Попробую.

— Пробуйте! — кивнула с улыбкой дама и снова потянулась сигаретой к пепельнице. — Как что-нибудь получится, свяжитесь с моими секретарями.

Дама величественно поднялась, давая понять, что аудиенция окончена, и я торопливо, даже слишком, пожалуй, торопливо, откланялся.

В тот же вечер я сел на питерский поезд и уже следующим утром читал лекцию очередной группе невыспавшихся студентов. Все в моей жизни осталось прежним: наспех отремонтированные душевные аудитории, грязная квартира, еда на скорую руку в одной и той же дешевой забегаловке, никому не нужные научные статьи, доклады на конференциях, толкотня в вагонах метро. Но мысль о новом сюжете и о человеке, о персонаже, стала меня неотступно преследовать. Я сел читать московских авторов, недавних, тех, у кого мне посоветовали поучиться уму-разуму.

Москва: москвичи

Похоже, литературная дама была права. Все они явно понимали, что такое человек, и действительно, в отличие от меня, двигались в фарватере времени. Не то что двигались — прямо-таки летели на всех парусах. Сюжеты и лирические откровения сыпались из них, как из рога изобилия. Наши питерские авторы, те, кого я знал, явно уступали им в изобретательности, словоохотливости и были более сдержаны, словно что-то скрывали. А читатель, он ведь как следователь или даже как женщина, что, впрочем, одно и то же. Он очень не любит, когда от него что-то скрывают. Поэтому и предпочитает московских писателей, которые не скрывают ничего. Их книги покупают. Их самих повсюду возят и везде показывают. Они богаты, хорошо одеваются, прыскаются дорогими духами и пользуются успехом у женщин.

Мне кажется, дело тут в самой атмосфере их города.

Москва небрежно размашиста. Словно кто-то, очень славный и добрый, не на шутку расщедрился и сбросил дорогую шубу с плеч: вот, мол, люди, соседи дорогие, все для вас, пользуйтесь, владейте. Я вам тут в кучу все свалил, а вы разбирайтесь, берите, чего хотите! Если не понравится, говорите! Не стесняйтесь! Я вам другое принесу, поновее, поинтереснее!

Москва готова постоянно вас удивлять.

Это как в детстве. Проснулся в свой день рождения раньше всех. А в комнате на столе рядом с твоей кроватью много-много подарков. И солнце радостно пробивается сквозь шторы. И потом еще вечером придут гости — и снова будут подарки, поздравления и праздничный стол со всякими вкусностями. Вот и с Москвой так. Гуляешь себе по бульвару, заметил какое-нибудь здание. Хочется поближе подойти, получше рассмотреть. Тем более, вот и улица эта к нему ведет. Пошел по улице, а она куда-то заворачивает. Ты все идешь-идешь и выходишь к какому-то казино. А здание твое осталось где-то в стороне, и до него теперь, оказывается, надо полтора часа добираться с тремя пересадками.

Хотя, с другой стороны, москвичи несколько не ценят этой свободы, этого обмана всех и всяческих ожиданий, который дарит им родной город. Они привыкли и ничему не удивляются. Когда я впервые в сознательном возрасте попал в Москву и вышел погулять на Тверскую, то сразу же почувствовал: я единственный, кто ходит здесь просто так, единственный, кто болтается без дела. Москвичи в отличие от приезжих не разевают рот попусту и не глазают по сторонам. Им некогда и неинтересно. Они двигаются быстро, глядя прямо перед собой. Их совершенно не удивляет, что улицы, по

которым они ходят, все время извиваются, петляют, идут то вверх, то вниз. Они нелюбопытны, хотя и неленивы.

И Москва, даю голову на отсечение, недовольна своими коренными жителями. Она, как девушка, не терпит безразличия. Ей непременно нужно, чтобы ее любили. Ну, если не любили, то хотя бы ненавидели, желательно страстно, на пределе человеческих чувств. А москвичи не в состоянии ей всего этого дать. Они любят Москву по инерции. Так занудливый старый муж, занятый работой и рыбалкой, любит свою жену в силу привычки.

Москвичам надоедает их московская работа, московские газеты, столичная суэта, шум, гам. Они все чаще норовят вырваться из своей московской жизни, хоть ненадолго. Поехать в Питер, погулять по набережным Невы, посидеть в театре среди интеллигентных сдержанных людей. И тогда Москва пустеет, призывно звеня курантами и сверкая ночной рекламой. Ей некуда девать энергию могучих зданий, улиц, рвущихся во все стороны, магистралей метрополитена, пронзающих древние земные слои. Протягивая горожанам ладони больших площадей, она ждет, что на них будут танцевать девчата, радуя добродушный взгляд орденосца-старика, но получает от девчат лишь жалкую подачку — окуроч, брошенный мимо урны. И тут прибывает...

Москва: новое действующее лицо, новая искренность

И тут прибывает новое действующее лицо, герой-любовник, жаждущий познать Москву и воздать ей должное. Сохранивший подлинность чувств, человечность, радующийся новым и несбыточным желаниям, готовый приветствовать утро завтрашнего дня, способный стать первым. Именно он нужен Москве. Именно ради него она так часто меняла свое обличье. Ради него здесь сносили дряхлые церкви и на их месте возводили современные благоустроенные жилищные комплексы. Ради него устремляли в небо острые шпили и открывали аквапарки. Ради него. Ради человека, которого хотели удивить.

И он удивится. Непременно удивится. И обязательно сразу же начнет что-нибудь сочинять. Что-нибудь новое-искреннее. Ведь это только за границей писателями становятся тогда, когда уже перестают в этой жизни чему бы то ни было удивляться. У нас в России все наоборот. Человек превращается в писателя тогда, когда только начинает чему-нибудь удивляться. Когда его что-нибудь озадачит. Ну, к примеру, насущный вопрос, где взять деньги.

Вопрос, кстати говоря, для Москвы отнюдь не праздный. Москва — это не деревня Малые Пятки, где выставил председателю сельсовета пол-литра, и

дело в шляпе: тебе готов и стол, и кров. Здесь жилье дорогое, даже если не в центре и даже если в долгосрочный кредит. А ведь еще нужно семью содержать, сопливых и прожорливых детей, надоевшую жену, покупать дорогие подарки любовнице, этой молодой хитрожопой стерве.

Но все у него получится. Он наполнится непредсказуемостью этого города, которая обернется в его текстах творческим духом замысловатой сюжетности. А когда обернется, как товар в упаковку, он, беспокойный и упрямый, такого напридумывает, что публика придет в совершеннейшее восхищение и выстроится за автографами, а издатели отвалят кучу денег. Критики, в свою очередь, когда их очередь подойдет, напишут, что никто прежде так точно не передавал всех тонкостей человеческой души.

Так точно, господа критики! Никто. Да и передавать прежде было некому — никто бы и не взял, а ежели бы и взял, то немедленно вернул обратно с извинениями. Теперь все изменилось. Появился новый автор, а с ним и новый читатель, и новый характер общения. От сердца — к сердцу. От нашего стола — вашему столу, от запорожцев — турецкому султану. Москва, наконец, поверила чужим слезам. Поверила-проверила. Ей больше ничего не оставалось. Только поприветствовать нового человека, новый сюжет, новую искренность.

Питер: вагон метро

Новым искренним людям требуется искренняя литература. А искренней литературе, в свою очередь, — новые люди, население. Не отдельно взятый человек, — кому он нужен, он даже простое пяти-вершковое бревно не подымет, — а население.

Искренние, честные журналисты часто пишут в независимых и новых газетах, что чиновники видят в населении только электорат. “Мы, — кричат журналисты, захлебываясь от возмущения, — мы для них просто электорат! А мы хотим быть населением!”

Тут, конечно, возразить нечего. Они правы. Если люди хотят быть населением, им нельзя этого запретить. Правда, вот Освальд Шпенглер в “Закате Европы” заметил между делом, что плохо, когда нации превращаются в население. И даже таблицы какие-то мудреные составил. В таком случае городские чиновники Москвы и Питера, отцы, так сказать, наших славных городов, видимо, являются верными последователями Шпенглера. Хотя по их физиономиям этого не скажешь. Глядя на их лица, вообще трудно что-либо сказать. (Между прочим, миф о Горгоне-медузе учит нас, что нельзя безнаказанно вглядываться во всякое безобразие.) Но, так или иначе, чиновникам не нравится, что вокруг одно сплошное население. Поэтому они ввели регистрацию прибывающих в столицу искателей но-

вой жизни. И милиционеров разместили в разных шумных местах.

Вы думали, дорогие друзья, что вот у нас в Питере поставили памятник городовому, так это случайно? Не будьте такими наивными...

Милиционеры стоят по двое, по трое, переминаются с ноги на ногу, иногда достают из-за пазухи большие черные рации с толстыми резиновыми антеннами и что-то отрывисто в них говорят. Периодически останавливают прохожих (“Здравия желаю! Сержант Дрищенко!”) и велят показать документы. Если в бумагах значится, что ты коренной горожанин, элемент местной нации, батарейка из большого комплекта, то ступай, как говорится, с богом. А если вдруг выяснится, что ты — чужак, приехал из соседней деревни или, не дай бог, откуда-нибудь с юга, то есть не коренной горожанин, а молочный что ли, просто единица населения, которая в списках не значится, то тогда выкладывай денежки. Все по справедливости. Милиционеры их честно заработали.

Эти милицейско-чиновничьи начинания похвальны, но недостаточны. Милиционеры задерживают далеко не всех. Они, например, не останавливают тех, у кого физиономия напоминает российский герб: новый (на самом деле старый) с двухголовой когтисто-клювастой птицей, и старый (на самом деле новый) с колосьями, звездочками и смешными надписями. Но разве физиономия, скажите мне,

в наши-то дни отсылает к какой-нибудь внутренней сущности? Разве она, выражаясь строго научным языком, референциальна? Даже если эта физиономия — гимн национальному гербу или герб национального гимна?

У меня вообще есть подозрение, что без посторонней помощи мы гораздо быстрее деградируем и околеем со скуки. Пусть хоть что-нибудь будет новым, искренним, человеческим.

Вот едешь ты, к примеру, в машине.

Свежее утро, солнышко, зеленые насаждения.

Мечтаешь о высоком и великом.

И вдруг тебя кто-то некультурно так подрезает.

Подрезает крылья твоей фантазии, альбатросно парящей над...

... и такая накатывает тоска...

Нет, не годится. Так нельзя начинать. Неубедительно. Откуда это у меня вдруг машина? Я на свою зарплату могу купить разве что велосипед. Да и то в долгосрочный кредит.

Лучше начать как-нибудь иначе.

Едешь ты, к примеру, куда-нибудь, куда ехать не хочешь. Ну, хоть на работу. Раннее утро. Типовой вагон метро. Сверху круглые лампы светятся и мигают на остановках. Сбоку — двери, то открываются, то закрываются. За стеклом вагона — стены туннеля, по которым синхронно с поездом змеями вьются толстые кабели. На стеклах дверей — дежурная над-

пись “НЕ ПРИСЛОНЯТЬСЯ”. Сверху доносится магнитофонный голос, объявляющий остановки и что “двери закрываются”.

В вагоне полно народу. Люди сидят, стоят. Кто-то читает книгу, кто-то разгадывает кроссворд. Я сижу, зажатый двумя толстыми тетками, и сочиняю текст, который вы сейчас читаете. Дома на это нет времени. Кстати, очень трудно сосредоточиться, когда над ухом все время бубнят. Когда в вагон заходят сменяющие друг друга на каждой остановке представители транспортной торговли и громким голосом требуют, чтобы ты купил карту города, или бактерицидный лейкопластырь, или фонарик, незаменимый на даче, или комплект женских журналов за позапрошлый месяц.

Лучше отвлечься от пустой писанины и поразглядывать людей в вагоне. Напротив меня — две молодые женщины, трое мужчин неопределенного возраста и подросток. Одна женщина, повернувшись к другой, уже давно что-то кричит ей в ухо, стараясь пробиться сквозь шум поезда. Двое мужчин смотрят прямо перед собой, третий читает газету и жует. Подросток слушает плеер и, закрыв глаза, раскачивается всем туловищем из стороны в сторону. На их физиономии лучше не глядеть. Особенно на физиономии мужчин. Мне кажется, что магнитофонный голос, объявляющий остановки и что “двери закрываются”, вот-вот прокашляется и с привычной интонацией тревожно ска-

жет: “Внимание, граждане пассажиры! Произошел массовый побег из мест лишения свободы! Будьте внимательны! Следите за своими вещами! Не оставляйте без присмотра детей! И сами не оставайтесь без присмотра!”

Хотя, знаете, наверное, я попросту трусоват. Люди эти, судя по одежде и манерам, явно наши, местные, не какие-нибудь... Родились и выросли в Ленинграде — Петербурге. Они вполне безобидны. Просто лица у них скучные. А скука пугает. Поэтому лучше разглядывать не лица, не самих людей в целом с ног до головы, а сосредоточиться на каких-нибудь деталях или на отдельных частях тела. Так будет гораздо интереснее.

Скажем, на ушах.

Кстати. Многие русские писатели уделяли особое внимание ушам, полагая, что эти органы могут о многом рассказать и выболтать самые сокровенные тайны. Причем, что удивительно, тайны не счастливого обладателя ушей, а счастливого наблюдателя ушей, то есть того, кто созерцает чужие уши. Вот у Толстого уши Каренина каким-то непонятным, но весьма красноречивым образом свидетельствуют о том, что его ветренная жена Анна уже полюбила Вронского.

Тебе, как говорится в песне, отмщение и аз воздам. Строго, но справедливо и со вкусом. Если кто-то видит чужие уши, особенно белые, это Толстого, сиятельного графа, пахаря и непротивленца,

настораживает и заставляет свериться с Евангелием от Матфея. Или от Луки.

Я вот тоже по примеру бедной Анны начинаю разглядывать уши тех, кто сидит напротив. (Я все еще в вагоне метро — вы не забыли?) Может, и в моей душе откроются какие-нибудь неведомые глубины?

Три долгих минуты восточного созерцания, а потом еще две западного самоанализа.

И НИЧЕГО!

Ни малейшего отклика!

Хотя уши тех, кто сейчас передо мной, и тех, кто читает этот текст, весьма разнообразны. Можно даже составить их классификацию.

Уши большие, напоминающие листья лопуха, и уши маленькие, наподобие пятирублевой монетки; уши, оттопыренные, как параболические антенны, и уши, аккуратно и несмело прижавшиеся к черепу; уши твердые, как решения нашего правительства времен Брежнева, и уши мягкие, рахитичные, неуверенные в себе, как преподаватели вузов; уши мясистые с крупными мочками, как спортсмены-тяжеловесы, и уши тонкие, прозрачные, словно балерины; уши нахальные с торчащими из них пучками волос и уши робкие, пытающиеся скрыться под шевелюрой...

Стоп!

Магнитофонный голос объявляет мою станцию.

Пора выходить...

Но все-таки хочется еще немного поразмышлять об ушах. Ничего страшного. Поразмышляем о них на эскалаторе.

Еду наверх. Метро у нас глубокое, так что подниматься приходится минут пять. Впереди и позади меня на ступеньках стоят люди. Все ушастые. Мы — порода ушастых животных. Такое впечатление, что вот-вот начнем обнюхивать друг друга. И тут меня осеняет: уши свидетельствуют не о том, что кто-то кого-то разлюбил, а о том, что мы, оснащенные ушами, — некий биологический вид, способный к размножению, плодящийся и распространяющийся по всей земле и, тем не менее, вымирающий.

Все ж таки лучше, если мы станем населением — может, процесс вымирания замедлится? Будем просто людьми, искренними, честными, требующими от подобных себе той же честности, искренности, словом, человечности.

Хотя это тоже, если уж начистоту, отвратно.

Вот... А вы говорите: “машина”, “подрезал”... Как это все тускло, тускло, неталантливо. Но зато по-человечески — от сердца к сердцу.

Искренность, особенно если она новая, — это когда ловкий дизайнер маскирует в роскошной квартире унитаз, выполненный в соответствии с высокими технологиями, под деревенский нужник. Дабы пользователь, простой русский бизнесмен с

зарплатой 400 тысяч долларов в год, в полной мере ощутил естество первозданной жизни и нашел в себе силы поклониться матери-природе.

В мире животных

Вообще-то искреннего человека долгое время держали за дурака. Но это было давно, в древности. А первый, кто в волнении протянул нам с вами руку, был, кажется, Еврипид. Ему, видно, надоело вещать попусту, и он решил поговорить со зрителем по-человечески, как человек с человеком. Это стремление, в общем-то, вполне по-житейски понятно. Приятно ведь посмотреть, как у собеседника увлажняются глаза, текут сопли, дрожат колени, волосы встают дыбом. Сразу же как-то приободряешься. Чувствуешь себя магом, чародеем из книжки, Волшебником Изумрудного города, Рихардом Вагнером, соблазняющим Людвигу Баварского.

Да и собеседнику приятно. Человек всегда испытывает удовольствие, когда о нем говорят. Даже если что-то плохое.

Хорошо. Буду брать пример с москвичей и писать о человеке. С замысловатым сюжетом обязательно чтобы. Мне все-таки нужны деньги. Зарплата у преподавателя небольшая, сами знаете. Квартплату недавно повысили и плату за телефон. А у меня долги, алименты и хронические заболевания внут-

ренных органов. Ремонт нужно делать, на кухне и в ванной. Квартира — она ведь как проститутка. Денег постоянно требует. Недавно вот штукатурка в коридоре сюрприз преподнесла — на пол упала. Похоже, ей надоело за двадцать лет на одном и том же месте.

Так что готовьтесь. Буду рассуждать о человеке. Да и вам, дорогой читатель, всяко интереснее. Очень хочется хорошо написать о человеке. Не как попало, а именно хорошо: чтоб зацепило, как крючком, чтоб задело, чтоб кузнечик, сидящий у вас там внутри, застрекотал, вылез наружу и начал питаться свежей травой. А по спине пробежали мурашки. Чтоб вздымалась грудь, и не тихо, как у кого-то там, а бурно, как море на картине Айвазовского “Девятый вал”.

Чувствую, надо исповедаться, отворить кран души, прикоснуться к струнам личного. Рассказать про то, как я съел

собаку
тушканчика
бутерброд с колбасой
жареные куриные крылышки
свинину по-швейцарски
говядину по-русски
жаркое из кролика
вяленого леща
бастурму
вымя

(нужное подчеркнуть)

Когда-то, еще школьником нежного возраста, из приложения к учебнику по биологии я узнал о печальной участи стеллеровой коровы, морского животного, которое вымерло к началу XX века. “Последнюю стеллерову корову, — сообщалось в книге, — съел в 1908 году некий Попов с товарищами”. До поры до времени коровы мирно плавали в дальневосточных морях. Потом выяснилось, что у морских коров вкусное мясо, и на них стали охотиться. Коровы оказались легкой добычей. Охотники быстро смекнули, что они имеют дело с глупыми, неповоротливыми и беззащитными существами, — “коровами”, одним словом, которые тут же доверчиво всплывают, стоит только их чем-нибудь подманить. В результате коров принялись нещадно истреблять, и к началу XX века они полностью исчезли.

История поучительная. Видимо, если ты хочешь преуспеть, если не хочешь, чтоб тебя съели, если хочешь джентльменом удачи добраться до золотого шлема и не попасть в тюрьму, не будь стеллеровой коровой, наивной и доброй. Иначе по твою душу обязательно придет некий Попов.

Ведь именно он “с товарищами” съел последнюю стеллерову корову. Я, кстати, несмотря на левые взгляды, никогда не любил в советское время всяких там “дорогих товарищей”, пожилых, в костюмах и с электрическими розетками вместо лиц. Особенно мне они не нравились, когда клыкасто улыбались

и административно щелкали своими вставными челюстями.

“Последнюю стеллерову корову съел в 1908 году некий Попов с товарищами”.

Между прочим, эта фраза многое оставляла непонятным. Ее можно было понимать как угодно. Прежде всего была неясна судьба “товарищей”. То ли они ели корову вместе с неким Поповым, то ли некий Попов оказался настолько проворен, что сначала закусил коровой, а потом принялся за “товарищей”. Хотя, знаете, по большому счету это не так уж важно. В любом случае некий Попов вошел в историю. Тем, что съел стеллерову корову. Вместе “с товарищами”.

К слову сказать, с точки зрения современных пиар-технологий, а равно и нынешней литературы, движущейся в фарватере времени, Попов повел себя совершенно недальновидно. Ему бы закрепить успех. Написать, к примеру, книгу “Как я съел последнюю стеллерову корову”. Рассказать о своей нелегкой жизни охотника. Это бы всем понравилось. А так он остался всего лишь “неким Поповым”. Ни имени, ни отчества, ни биографии. Просто “некий Попов”.

Мой приятель Андрей Степанов, когда я ему в 1987 году на совхозном поле — мы студентами ездили убирать морковь — сообщил о том, что последнюю стеллерову корову съел некий Попов с товарищами, рассмеялся и сказал:

— Наверное, этот Попов — какая-нибудь редкая сволочь.

“Почему сволочь? — подумал я тогда. — Может, сволочь, а может, и нет. Возможно, он понятия не имел, что эта стеллерова корова — последняя и других уже не будет. Может, у него были папа и мама. Может, он был порядочным человеком и просто хотел кушать”.

И все-таки, я полагаю, Попову следовало бы написать книгу, объясниться, облегчить сердце и душу. Заявить во весь голос, мол, “уважаемые товарищи потомки...”. А заодно и деньжонок подзаработать.

Что значит “некий Попов”?

Поповых много. Со мной в классе учился один Попов — Кирилл, а в параллельном другой Попов — Антон. Оба стали предпринимателями. У нас с Пашей Вадимовым есть знакомый Олег Попов. Его не надо путать с клоуном Олегом Поповым — тот сейчас живет в Германии, фокусы показывает, смешит сосисочно-пивных бургеров. Наш приятель — психоаналитик. Он часто нам звонит — то мне, то Паше, и предлагает пройти курс терапии, лечь на кушетку и исповедаться, обо всем честно и по-человечески рассказать. В Москве есть еще Слава Попов, журналист. А в Питере — писатель Валерий Попов. Наконец, во времена “некоего Попова” жил другой Попов, профессор, тот, кто изобрел радио и чьим именем названа улица на Петроградской стороне. Тут легко

запутаться, особенно в нашем случае, когда от имени, отчества и биографии осталось только жалкое и тощее “некий”.

А вот создал бы книгу под названием “Как я съел стеллерову корову”, стал, может быть, “тем самым”, или “известным”, или даже “небезызвестным”.

Автор и читатель

Надо писать книги о себе. Если не книги, то хотя бы статьи. Но в заглавие непременно ставить слова “Как я...”.

Например: “Как я ходил во власть”.

“Как я стал черносотенцем” (тоже всем необходимо узнать в целях, так сказать, повышения образованности).

“Как я перестал быть структуралистом и почему” (это, правда, совершенно неинтересно широкой публике, но филологическая элита оценит).

Написать и повесить на видное место, на центральную полосу какой-нибудь газеты. Желательно, чтоб московской и чтоб сильно независимой. Или по радио выступить, ежели в телевизор не пуцают по причине непривлекательной наружности.

“Как я заработал свой первый миллион”.

“Как я спала с депутатами Госдумы”.

Как я и как меня...

Словом, произвести побольше таких “каков”. Читатели ценят “каки” и любят “каки”. “Каки” отдают ароматом чего-то неповторимо личного и сугубо человеческого.

И вот ты уже денег заработал. Сидишь в дорогом ресторане и мнешь в руках вчерашнюю газету (звонил редактор и сказал, что они, наконец, опубликовали интервью с фотографиями — так что пришлось купить). Перед тобой на столе — тарелка с черепашиным супом. У стены — аквариум с кораллами из Красного моря и разноцветными рыбками. За столиком вместе с тобой — друзья, самые близкие и родные люди: два успешных писателя, известный журналист, богатый издатель с серьгой в ухе, кинорежиссер и твоя любовница. Правда, от экзотической еды немного пучит. И духота в ресторане невозможная — на дворе лето. Хочется выйти на Тверскую, вдохнуть полной грудью жаркий июльский воздух, погрузиться в шум зеленых аллей. Если черепаший суп снова даст о себе знать — ничего страшного, там во двориках вроде бы поставили современные биосортиры — хозяйственный мэр недавно распорядился. Так что можно всем вместе выйти и прогуляться. Совместно обдумать очередную книгу.

Искренности, новой, волнующей, человеческой, явно недостаточно. Тебе это известно как никому. Подсознание читателей страдает сюжетной эпичности. Любой. Самой заваливающей. Пусть даже

фантазийной и несбыточной. Несбыточной — лучше всего.

К примеру, ты уже не автор, а читатель. Не генерал от филологии, получающий гранты, чтобы копаться в литературных окаменелостях, а рядовой читатель. Представитель населения. Жизнь у тебя как-то не может наладиться, хотя ей давно бы уже пора это сделать, тебе ведь скоро на пенсию. На работе недавно начальник обругал, премию за прошлый месяц забыли выплатить — очкастая бухгалтерша-дура потеряла какие-то бумажки, дома штукатурка с потолка сыпется, трубы то и дело засоряются — надо ставить новые, а на какие шиши — непонятно, электропроводку пора менять, кошка оставила кучу в ванной, сын растет оболтусом — двойки в школе получает, жена постоянно скандалы устраивает.

Не об этом ты мечтал в пору своей мятежной молодости. Ты мечтал совсем о другом: о доблестях, о подвигах, о славе, о толстой, о красивой нежной бабе. Ты мечтал о сюжете, о героическом сказании, и чтобы ты в нем был главным действующим лицом. Главным и положительным во всех отношениях. И тут на помощь тебе приходит нынешний автор, создатель нового эпоса. Только успеваешь раскрыть книгу на первой странице, как там уже кто-то бегают, непонятно пока, кто, но кто-то очень героический и положительный, бегают с автоматом наперевес и стреляет во все стороны.

“Так ведь это я!” — осеняет тебя.

“Точно, ты”, — отвечает автор.

“Это я бегаю!” — ты в восторге от этого откровения.

“Конечно же. Ты и бегаешь. И шинель на нем твоя, и душа, и мысли. Да и книгу я писал про тебя”.

“Про меня?!” — ты все еще до конца не можешь поверить.

“Про тебя, — утвердительно кивает автор. — А про кого же еще? Разве, кроме тебя, еще кто-то тут есть?”

“Нет”.

“Ну, вот видишь. Теперь покупай книгу и читай дальше”.

Фридрих Ницше все удивлялся, зачем, мол, кроту крылья, мечты, бинокль. Зачем посылать его в театр?

Как, то есть, “зачем”? Чтобы другим спокойнее спалось. Да и посылать крота никуда не надо — он дороги не найдет. Лучше просто сводить его в магазин и купить ему книгу.

Забудем про читателя. Подумаем снова об авторе. Обо мне то есть. Как нам (мне) выпутаться из своей ерунды? Как научиться работать с человеческим материалом? Как помчаться в фарватере современности, наполнив воздухом паруса, а карманы деньгами?

Как? Как? Как?

Боже, опять эти “каки”!

“Последнюю стеллерову корову съел в 1908 году некий Попов с товарищами”.

Давайте придумаем эпос, где будут темные и светлые, Волга-матушка, Урал-батюшка. Пропоем гимн золотому русскому бунту. Или, наоборот, плюнем четыре раза в родную землю и во все живое. За злобу, говорят, приходится платить. Оно, конечно, так. Но если все правильно рассчитать, то платить не придется. Наоборот. Дэээссентовы мучения. Еще нам заплатят. Итак, примемся за эпос, где своя Итака и свой Одиссей. Назовем эпос “Жизнь Гава”. Или нет, лучше “Путь Гава”. Так современнее, концептуальнее и более по-московски.

Путь Гава

(Роман-клип)

Для начала попробуем разобраться с сюжетом. Поскольку на улицу я выхожу редко, разве что в соседний магазин, — сейчас постоянно открывают, так что все рядом с домом, — и понятия не имею, что вокруг происходит, то сюжет придется искать в какой-нибудь книге. Тем более, я вдруг понял, тут нужна история про инопланетян — читателю важнее, да и героики добавит.

Итак, приступим к работе. Позаимствуем сюжет частично у одного датчанина и частично из

книги полузабытого американского писателя — эту я читал еще в детстве. Действие нашего романа перенесем в Россию. Тогда никто не заподозрит, что я попросту украл сюжет. Ведь ковыряться в моем тексте будут филологи или философы, вооруженные увесистой дерридой, как сказал, заканчивая цитату, один мемуарист. Они за последние годы наострились гранты получать. А гранты раздают исключительно под изучение русской литературы. Стало быть, только ее они и читают. Это мне как раз на руку. Значит, не поймают.

Закадровым событием романа будет взрыв кометы, отозвавшийся метеоритным дождем, обильно оросившим нашу планету. Метеориты устремятся к земле, буравя космическим излучением сердца ее глупых обитателей и наполняя души только что появившихся на свет младенцев сверхчеловеческим сиянием. Одним из таких младенцев станет Коля, сын крупного русского золотопромышленника Валериана Сигизмундовича Кошкина. Все это желательно изложить как можно схематичнее, чтобы читатели не отвлекались от сюжета, а компетентные критики и философы, сняв с полки книгу “Дао для начинающих” или “Дзен для начинающих” (тоже вполне подойдет), оценили изящество моей концепции, игру знаков и символов.

Наш Коля Кошкин, облученный космической добротой радиоактивной кометы, чувствует, что с ним творится что-то неладное: он то начинает гром-

ко петь на людях, то теряет дар речи. Коля Кошкин бросает учебу, жену, детей, которых у него пока нет, и уходит от людей туда, где хмурой стеной встают Уральские горы. Нет, лучше сказать иначе: туда, где хмурой громадой высятся Уральские горы, далекие, как сон. (Вот, теперь совсем другое дело.) Коля Кошкин идет, то теряя, то путая след, сквозь туманы, мороз и пургу, минуя отверженные селенья, храмы и бары, дальних стоянок огни, ристалища и капища, горные склоны, пугая гидр и змей. Его пытаются ограбить и убить беглые каторжники, его соблазняют корыстные царевны, ему посылают вслед хриплые проклятия священники, но он остается безучастным ко всему человеческому: к любви и ненависти, к тоске и радости, к страданию и состраданию. Недолгий беспокойный сон на каком-нибудь постоялом дворе, а то и в убогой брошенной лесной хижине, где легко найти страннику приют, и снова в путь мимо белого яблока луны, мимо красного яблока заката. По ночам, когда снегопад тихо шуршит по веткам, Коле Кошкину снится голубая река. Ее пологие берега покрыты льдом, а у самой его кромки стоят скульптуры, вылепленные деревенскими пионерами (пока Коля Кошкин ходил, политическая жизнь страны изменилась — все стало вокруг молодым и зеленым, и это не ускользнуло от внимательного взгляда автора) ... так вот: стоят скульптуры, вылепленные местными деревенскими пионерами в стиле раннего социалистического реализма: тут и девушка

с веслом, и рабочий с молотом, и крестьянка с серпом, и девочка с куклой. И все, разумеется, обнаженные. А вокруг ночь. Ночь и тишина.

В конце пути Коля Кошкин находит эту голубую реку, подходит к воде, опускает в нее ладони. Его душу наполняет радость и покой, покой и воля. Ничего, что метели, не беда, что холода. Коля Кошкин поднимает голову и смеется. Смеется снегопаду, солнцу в далекой просини неба и ветрам. Он забывает обо всем, забывает, кто он и откуда, забывает даже свое имя. (Батистовый юноша, нежный щеголь, лошадь не в строю, голубоглазый Флорестан! Ты видишь, как тает ночная мгла, ты различаешь спрятавшееся в небо трепетное дыхание могучих клубящихся облаков, ты слышишь, как сердце твое стучит, как исходят пурпурным соком нервы, как напрягаются ягодицы, как мысли дробятся, а их осколки взмывают к небу звонкоголосыми горлицами.)

— Как меня зовут?! — кричит наш герой, согретый бесконечной надеждой, и слова возвращаются к нему гулким эхом.

— ГАВ-ГАВ-ГАВ! — слышит он в ответ отрывистый лай, раздающийся то ли из глубины его души, то ли из раскинувшегося за рекой царства сосен, — там ходят охотники с собаками.

“ГАВ — это и есть твое настоящее имя! — подсказывает ему внутренний голос. — А прежнее не имеет уже никакого значения и смысла!” (Хорошо сказано: значения и смысла.)

Почему его зовут именно ГАВ, наш герой разбираться не стал, да и мы не будем. Видно, так распорядились высшие силы, вложив в это имя непостижимое откровение.

И тут из лесу (как нельзя кстати, потому что мне, автору, совершенно непонятно, куда девать теперь этого Гава) выходит молодая охотница. Едва ГАВ ее увидел, как внутренний голос снова наладился лаять откуда-то из-под диафрагмы:

— ГАВ-ГАВ-ГАВ!

— НО-НО-НО! — зазвенело в ответ хрустальными колокольчиками, зазвенело и разнеслось в морозном серебряном воздухе. — Меня зовут НО!

Вокруг — ни звука. ГАВ замирает, вслушиваясь в тишину, глядя в сердце тьмы, в молчание. На душе и легко, и тревожно. На всей земле есть только он, молодая охотница и гаснущие звезды на небосклоне.

Когда ГАВУ, тогда еще Коле Кошкину, было шесть лет, в одной старинной книге, которая каким-то странным образом попала в его детскую и столь же странным образом оттуда исчезла, он случайно прочел: “Подлинное знание не может облачиться в имя. У просветленных слова передаются от сердца к сердцу”. Маленький Коля сколько не силился, понять смысл прочитанного так и не смог.

— Папа, а что значит “в имя”? — спросил он у отца.

— Почему ты об этом спрашиваешь, Nicolá? — удивился Валериан Сигизмундович. — Вымя у коровы. Она его носит между ног. У нее там молоко.

Такое объяснение еще больше озадачило маленького Колю. Но теперь, когда ГАВ увидел молодую охотницу, окинул взглядом ее стройную фигуру и высокую грудь, ему внезапно открылось тайное значение тех смутных фраз из старинной книги и папино их толкование. Девушку зовут НО. В имени ее, так же как и в его собственном, — смутная тоска стремительной кометы по утраченному небу. Метеориты, дети кометы, рассеяны по земле, разбросаны по городам. Сердца юноши и девушки узнали друг друга.

История НО также полна тайн и неразгаданных снов. Откуда она — то не ведомо было даже мудрому Волсу, открывшему ей загадки старого леса. НО была всем и ничем. Косматой тучей над Борском, весенним дождем, промывшим царственные равнины Тибета, бурным потоком, низринувшимся с вершин заснеженных гор, касаткой, рассекавшей зеленую гладь южного моря. Она много раз повторяла это охотникам, отвечая на их смешные, торопливые расспросы. Охотники качали головами. Они отказывались ей верить. Старик Волс нашел НО на берегу тихой голубой реки, невесть откуда взявшейся в дебрях сказочной тайги. Неподалеку стояли какие-то дивные изваяния. Девушка лежала на спине, почти бездыханная, обнаженная и безза-

щитная, раскрыв небу глаза, полные ужаса. Волс закутал ее в свою старую куртку, взял на руки и отнес в деревню, где ее выходила бабка Лата, издавна почитавшаяся колдуньей. НО осталась жить у бабки, которая обращалась с ней как с дочерью, обучилась искусству охоты и вместе с учениками мудрого Волса подолгу пропадала в старом лесу, бродя тропами оленей и волков.

Теперь их надо отправить в уютную хижину для эротической сцены, а то читатель может заскучать. И вот оба уже гибнут в огнедышащей лаве любви. ГАВ кричал, кричал, а НО все отдавалась и отдавалась. Два желания сливались в одно. Боги и люди ушли. За дребезжащими окнами неистово лаяла собака, где-то далеко ухали совы, каркали вороны, а высоко в небе сверкала золотисто-голубоватая звезда Альтаир из созвездия Орла.

Красиво, да? Или можно иначе, еще красивее, как-нибудь примерно так...

ГАВ кричал, кричал, а НО все отдавалась без упрека и ненужных слов раскаяния. Два желания сливались в одно. Исполненная сверхчеловеческого горделивого совершенства атласная грудь НО вздымалась и падала. А нефритовый стержень юноши пронзал ее молодое, освещенное лунным светом, лоно. Под дверью шушукались злобные старухи, за окнами выли волки, ухали угрюмые филины, а высоко в небе стояла голубоватая звезда Альферанц из созвездия Андромеды.

Выбирайте, дорогие мои, тот отрывок, что вам больше нравится. Не столь уж важно, по большому счету, кто там и где стоял, лаял, выл, шушукался, ухал, каркал или пускал ветры. Я ведь писатель концептуальный. Да и слова в нашем мире даосов необязательны, избыточны и взаимозаменяемы.

Любовная сцена, в которой произошло слияние двух сердец, завершилась тем, что НО в порыве страсти ударила ГАВА огромным куском льда промеж глаз. ГАВ же в ответ стукнул девушку киянкой по носу и низко поклонился ей. И снизошло сияние на НО и ГАВА. И Будда в золотом облачении предстал перед ними. А они трепетно не дерзали поднять на него глаз.

И Будда произнес:

— О, дети мои! Долгие годы вы не жалели себя для этого мига! И вот он настал. Этот миг между прошлым и будущим, который барглы именуют “жизнью”!

— Барглы? — тихо шепнула НО.

— Да, — ответил он. — Так избранные называют обычных людей.

Теперь, когда все так счастливо открылось, надо поменять саму речь героев. Превратить ее из человеческой в сверхчеловеческую. Пускай они разговаривают себе пословицами или поговорками собственного изготовления. Мудрее смотреться будут. Загадочнее.

— Ветер, что птица, — говорит ГАВ, — улетит и никогда не возвратится.

— Твоя правда, милый, — отвечает НО. — А гордость, что твой ветер — щеки надувает, как паруса на бригантине.

На раскинувшиеся просторы земли тихо падал невесомый снег. Героям он казался белым листом, на котором им предстояло написать повесть. Повесть их любви.

Вскоре НО и ГАВ расстанутся. Разойдутся в разные стороны. Любви, как говорится, не смогли сберечь. И ГАВ снова станет Колей Кошкиным, вечным скитальцем.

Нет, так нельзя заканчивать. Финал какой-то бесперспективный. А ведь мне еще, как минимум, нужно два романа написать в продолжение. И договор с издателем уже заключен. А у них ведь строго. Если эпос — то продолжения пожалте к сроку. Хорошо, тогда финал изменим. Любовь ведь у меня — только часть сюжета. Поэтому сделаем акцент не на ней, не на личном, а на безличном — я, в конце концов, даос, так что имею право. Да и действие у меня происходит в Советском Союзе. А там не личное главное, а сводки рабочего дня. Так что наши герои в конце романа возьмутся за руки и отправятся искать себе подобных, остальных детей кометы, сверхчеловеков, облученных космическим счастьем.

(Продолжение следует)

Когда я слышу слово “культура”, мне кажется, я теплая гильза, упавшая в траву, или стеллерова корова, съеденная в далеком 1908 году неким Поповым с товарищами.

Политика

Надо, друзья, сочинять. Отступать нельзя. Позади Москва, Арбат, сеть закусочных “Золотые купола”. Искренность и эпичность, вернее “искренняя эпичность”, а еще лучше “эпическая искренность”, принесут радость всем. Тебе — гонорар, а читателю — возможность, не подвергаясь риску, почувствовать себя героем.

Но на одной эпической искренности далеко не уедешь. Ее нужно обязательно чем-нибудь сдобрить. Лучше всего — политикой. Если выберете политику — считайте, что успех обеспечен.

К нам в Петербург два года назад приезжал бельгийский писатель NN. Очень знаменитый и состоятельный. Лауреат престижных литературных премий. Успешный и продаваемый. Это теперь. Еще не так давно он был совершенно никому не известен. Его романы, ставшие ныне бестселлерами, в начале 1990-х годов выходили в мелких издательствах небольшими тиражами. Модные литературные журналы и крупные книжные дома отвергали прислан-

ные писателем рукописи одну за другой, вынося им стандартный приговор: “Не соответствует формату издательства”. Эта фраза вовсе не означала, что текст NN был плохим или хорошим. Она подразумевала только одно: на книгах писателя нельзя было заработать много денег. По крайней мере, сразу. А вкладывать средства в многоходовую рекламную кампанию, которая могла закончиться безрезультатно, никому не хотелось.

Впрочем, некоторые книги нашего автора были все-таки замечены критиками. Один даже заявил на страницах парижского еженедельного критического обозрения, что NN открыл новый литературный жанр — “офисный роман” — и сумел в лучших традициях психологической прозы раскрыть все сложности внутреннего мира среднестатистического менеджера. Были и другие отклики, столь же положительные, но они никак не сказывались на карьере и материальном благосостоянии NN. Боссы издательств по-прежнему оставались безучастными к его творчеству, предпочитая иметь дело с более ходовым литературным товаром. Им казалось, что офисные будни, выписанные пусть даже щедро и с должным художественным изяществом, вряд ли заинтересуют широкого читателя, ожидающего яркой эпичности и героизма.

И они были правы. Персонажи в романах NN, офисные работники в одинаковых костюмах, явно не страдали избытком героизма, которого ждал

читатель. Они целыми днями протирали штаны в душных конторах, портили зрение, уставившись в мониторы стационарных компьютеров, суетливо сновали по коридорам, открывая и закрывая двери, в перерывах торопливо запивали таблетки от мигрени горьким кофе из пластмассовых стаканчиков. А после работы, в костюмах, но уже со съехавшими набок галстуками, за кружками пива в дешевых забегаловках они ругали последними словами руководство своей компании. Вечерами офисные герои, вернувшись домой в свои неудобные холостяцкие квартиры, по обыкновению располагались в кресле перед телевизором и, протолкнув в видеомэгнитофон кассету с порнофильмом, принимались с остервенением терзать свои понурые гениталии. В подобного рода сценах, коими романы NN изобиловали, критики усматривали философский подтекст, указание на экзистенциальную заброшенность современного человека, обреченного сосредоточиваться на самом себе.

И все же бельгийский автор призывал читателей не вешать нос, не падать духом. Он давал понять, что не все еще потеряно, и в человеке по-прежнему остаются недюжинные ресурсы для расширения территории борьбы за собственное “я”. Вдоволь натрудив за долгие годы одиночества свои детородные органы, его офисные работники в какой-то момент решительно порывали с рукоблудием и находили себе спутниц жизни, способных откликнуться на безмолвные крики их взыскующих душ. Найденные

спутницы иногда оставались с героями, а иногда их покидали — в зависимости от романских обстоятельств. Здесь было только два варианта — остальные не предполагались. NN никогда не баловал читателей разнообразием сюжетных концовок. Возможно, он боялся погрешить против жизненной правды. Возможно, ему попросту не доставало воображения. Так или иначе, NN разочаровывал издателей и литературных агентов. До поры до времени.

Пока в одном из его романов не появились в качестве действующих лиц арабские террористы. Они оказались там вообще-то случайно — ради эффектной развязки: автор, видимо, почувствовал, что без них текст будет совсем уж безнадежно скучным. Этот роман ничем не отличался от предыдущих опусов NN, разве что был написан слишком уж поспешно и неряшливо. Главный герой, как всегда офисный работник, пережив измену жены, предательство лучшего друга, потерю автомобиля, смерть любимого кокер-спаниеля и убедившись в тщете ежевечернего рукоблудия, влюбляется, в конце концов, в невинную девушку, дочь миллионера и красавицу. Подобно дантевской Беатриче она открывает ему путь к спасению. Герои счастливы. В финальной сцене они сидят в дорогом парижском ресторане, едят черепаший суп, строят планы на будущее, как вдруг невесть откуда появляются смуглолицые бородатые мужчины в тюрбанах с автоматами наперевес. Раздаются короткие очереди, где-то рядом гре-

мит оглушительный взрыв — это, как потом выяснит полиция, сработало самодельное взрывное устройство — и нечаянный осколок попадает в девушку. Герой пытается вернуть свою возлюбленную к жизни и даже угоняет машину, но все усилия напрасны — она умирает по пути в больницу. Все меркнет, все теряет смысл в этом худшем из миров. Радость недолговечна, а нелепое стечение обстоятельств часто опрокидывает все ожидания: в любой момент, дает понять читателю NN, может появиться кто-то, готовый испортить вам праздник жизни.

Этот роман поначалу разделил судьбу всех остальных текстов NN — презентация, прошедшая в полупустом конференц-зале небольшой библиотеки, три жалкие рецензии, низкие продажи — и спустя два месяца про него уже забыли. Однако через полгода столичная газета опубликовала открытое письмо местной арабской общины к руководителям правозащитных организаций с требованием поддержать судебный иск против NN. Поводом, как выяснилось из открытого письма, стал последний роман NN, в котором лидеры общины увидели пропаганду расизма и религиозной нетерпимости. Независимая экспертиза, проведенная правозащитниками, признала роман нарушающим политкорректность и поддержала иск возмущенных арабов, о чем общественности было сообщено в той же газете. Но и у NN обнаружились сторонники — представители молодежного движения “Новые правые”.

Они выступили в защиту NN и провели две акции в поддержку свободы слова: одну перед зданием городского суда, другую — напротив представительства арабской общины.

Разразился невероятный скандал. Либеральная пресса заговорила о новом деле Дрейфуса. Правые рвались в бой. Левые отмалчивались. Судья вынес NN частное определение, а в интервью местному каналу телевидения призвал враждующие стороны к терпимости, к конструктивному диалогу и посоветовал NN принести арабам публичные извинения. Похоже было, что скандал затихает. Но через две недели NN дал интервью популярному бельгийскому журналу, где не только отказался извиняться, но и призвал единомышленников к защите исторических европейских ценностей. Это, разумеется, подлило в огонь новую порцию масла, и конфликт разгорелся с удвоенной силой. Подогретая скандалом публика повалила в магазины, чтобы купить крамольный текст. Экземпляры оказались распроданы в течение двух дней. Читатели принялись раскупать и другие книги NN, которые также начали стремительно исчезать с книжных полок. Потребовались дополнительные тиражи. Издатели наперегонки бросились к NN, умоляя его заключить с ними договоры и суля ему баснословные гонорары. Так NN превратился в богатую знаменитость.

Поучительная история. Мотайте на ус, друзья и коллеги. Как видите, путеводной звездой в мир

денег и литературного успеха стала политика, точнее — неполиткорректность, вызов общественным устоям, нашедший отклик в сердцах читателей.

Антракт

Антракт очень важен. Особенно если ты пришел в театр послушать современную оперу. Родители (папы, мамы, дедушки, бабушки)! Отправляясь в театр или в филармонию, помните, что ваши дети любят антракт гораздо больше, чем музыку, которую вы поведете их слушать. Антракт — это бег наперегонки в сторону буфета. А буфет — это соки и вкусные бутерброды.

Вернемся туда, откуда мы начали и где преврались. Итак, NN приехал в Санкт-Петербург по приглашению международного культурного центра, занимающегося распределением грантов и зарубежных поездок среди ученых-гуманитариев. Визит бельгийского писателя был своего рода рекламной акцией и оказался, как сразу выяснилось, приурочен к выходу на русском языке его романа, того самого, скандального.

Во время дежурной гостиничной пресс-конференции специально для журналистов, на которую я пошел главным образом из-за обещанного фуршета, литературный мэтр, вопреки всеобщим ожида-

ниям, не производил впечатления яркого оратора. Да и внешность у него была вполне заурядная. Круглое бледно-унылое лицо мужчины предпенсионного возраста; узкий лоб, прорезанный короткими морщинами; большой нос, будто по прихоти прилаженный к физиономии неумелой рукой начинающего скульптора; длинный рот, устремившийся в обе стороны к оттопыренным ушам, торчащим поверх соломенных кудрявых волос, кудрявых и редящих — сочетание, кстати сказать, неприятное. Говорил он тихо, словно неохотно пропуская слова сквозь зубы, покрытые желтым сигаретным налетом, так что в первых рядах было почти ничего не слышно. По правде говоря, вслушиваться не было особой надобности. Сидящие в зале в большинстве своем не знали французского, и всеобщее внимание было направлено на переводчицу, бойкую молодую брюнетку, которая громким, хорошо поставленным голосом озвучивала на русском языке все то, что произносил мэтр.

Завершая пресс-конференцию, NN что-то угрюмо фыркнул несколько раз в микрофон, и переводчица сообщила, что “наш гость” выразил желание встретиться со своими читателями, а также осмотреть достопримечательности бывшей российской столицы, которая, как он недавно узнал, только что отпраздновала свой юбилей.

— Встреча с читателями, — добавила она от себя, — будет проходить послезавтра в актовом зале

нашего центра. А сейчас всех присутствующих, — тут она широко улыбнулась, — мы приглашаем в фуршетный зал для неформального общения.

Журналисты принялись укладывать в сумки свои диктофоны, фотоаппараты, видеокамеры, разбирать аппаратуру. Я, в свою очередь, поспешил в соседний зал к закускам и напиткам. В конце концов, ради них я сюда и пришел.

Бутерброды с семгой, равно как и хрустящие тарталетки с красной икрой, оказались, в самом деле, весьма недурны. А дивное французское вино тут же убедило меня в том, что я не напрасно посетил пресс-конференцию прославленного литератора.

О вкусной и здоровой пище

Знаю, знаю. Об этом не хуже меня писали многие, и, тем не менее... уж не взыщите... всего несколько слов.

Я все ж таки не перестаю поражаться, насколько быстро еда, особенно вкусная и питательная, меняет представление людей о вещах. Еще недавно мир казался тебе гнусной тюрьмой или, скорее, душным театром, а люди в нем — актеришками из заезжей провинциальной труппы, фиглярами, готовыми за жалкие гроши продавать свои никому не нужные задницы.

Но вот ты сытно поел.

И мир тотчас же преобразился. Теперь он уже не кажется жалким театриком. Нет. Теперь это роскошный подиум, по которому разгуливают вздвперед в пластиковых диадемах длинноногие принцессы, улыбающиеся приветливым лучам софитов. По телу растекаются волны тепла и доброты. Хочется замереть, уснуть, забыться, остановить вращение земли и погрузиться в приятную грезу. Хочется избавиться от необходимости совершать поступки. Хочется полюбить всех на свете. Хочется улыбаться. Хочется мечтать о чем-нибудь великом, несбыточном и эпическом.

Видите, дорогой мой читатель? Я думаю, вы тоже пережили когда-нибудь эти прекрасные минуты. Желудок благосклонно урчит, по телу растекается приятная истома, а в душе вьет гнездо птица доброты и счастья.

*Письмо моему другу, Любе Аркус,
замечательному кинокритику, создателю
и главному редактору журнала “Сеанс”*

Дорогая Люба! Я давно хотел поделиться с тобой своими опасениями. Ты ведь знаешь, я — не кинокритик, а библиотечный червь. Вымирающая очковая порода людей. И, наверное, мои рассуждения покажутся тебе занудливыми. Но я должен сбросить камень с души. Прости, что обращаюсь к тебе публично.

Так вот...

Наш кинематограф, обрати, пожалуйста, внимание, как старый советский, так и новый, эпохи либеральных реформ, совершенно не понимает и не умеет передавать психологию человека, который только что вкусно поел. И это, Люба, кажется мне странным. Станным и подозрительным. Ведь наши режиссеры, ты сама знаешь, внушительную часть жизни проводят в дорогих ресторанах.

Возьмем, чтобы не ходить вокруг да около, классический советский фильм, трагический и строгий, еще раз рассказавший зрителям о любви. Главный герой — инженер-физик — вполне обеспечен. Он хорошо питается и, вследствие этого немаловажного обстоятельства, почему-то все время фанатично готов работать на благо других и ругать последними словами отрицательного персонажа Топтыгина, инфантильного, эгоистичного мальчика-переростка. Отрицательный персонаж ничуть не удивляется такому раскладу — что, несомненно, делает ему честь, — и вскользь замечает, что диалектика жизни, мол, такова: если кони сыты, они готовы из всех лошадиных сил стучать копытами.

По-моему, Люба, мы здесь имеем дело с явной философской отсебятиной. Я искренне убежден, что сытый конь будет спокойно стоять в стойле и ни за что стучать копытом не будет, а заставлять его делать это неэтично и антихудожественно.

Хорошо. Сделаем поправку на то, что фильм был снят в советское время, когда бесчинствовала цензура и не давала режиссерам адекватно самовыражаться. Но тогда как объяснить, что в фильме, снятом сравнительно недавно, молодым модным режиссером по сценарию немолодого, но тоже модного писателя, люди, занятые едой, изображаются отвратительными, грязными, злыми животными? Они даже не едят, а жрут. Жрут обильно, сочно, гадко, вертя в руках здоровенные кости-мослы и отрывая от них зубами мясо, останавливаются, чтоб срыгнуть, выплевывают изо рта куски на тарелку, а потом опять на них набрасываются. Камера показывает крупным планом лицо одного из этих “едоков”: немытые руки, хватающие пищу, лоснящиеся щеки, жир, стекающий по подбородку на одежду. Наевшись, персонажи начинают материться и, довольные наматерившись, затевают драку.

Зачем, скажи на милость, все это?

Зачем клеветать на человека с хорошим аппетитом?

Зачем подвергать неуместному остракизму процесс питания, заботу о себе?

Зачем вредить реализму?

Настоящий художник, Люба, не должен такого себе позволять. Возьми хотя бы Ван Гога. “Едоки картофеля”.

Тихо сидят за вечерним ужином.

Молча едят.

Женщина в чепце аккуратно разливает чай.

Никаких разговоров.

Никаких драк.

Люди за день устали. Люди отдыхают.

Покой и умиротворенность. Никто не собирается скандалить и тем более нарушать общественный порядок.

Ван Гог создал превосходную картину, спору нет. Но даже он погрешил против жизненной правды. Его персонажи — тоскливые страдальцы, горемыки. А в душе человека, который ест, пусть даже незамысловатый картофель, не должно быть места унынию, скуке и трагедии. Там звучит музыка, там плещет крыльями фантазия, там восходит месяц сторожить сказку при прожекторной крымской луне, и там же зажигаются огни космического кинематографа.

Твой Андрей Аствацатуров

Я закончил писать письмо Любе Аркус и тут же вспомнил один эпизод из своей прошлой жизни, когда у одного моего друга, Леши Безенцова, умерла бабка. Лешина жена и мать устроили поминки, на которые пришли родственники и знакомые. Надо сказать, что покойницу (царствие ей небесное) при жизни все эти люди в глубине души — и, по правде говоря, совершенно справедливо — считали особой крайне неприятной. Поначалу все выглядело очень

торжественно и вполне соответствовало скорбному формату мероприятия. Гости сидели за столом, изредка обмениваясь дежурными, заранее приготовленными к такого рода случаям репликами, мол, “уходят старики”, и большей частью хранили молчание. А потом, когда все наелись, — Лешина мама очень неплохо умела готовить салаты, — настроение за столом изменилось. Дежурная скорбь куда-то пропала, словно ее не было. Все сделались добродушными. Потянулись к вину. Развеселились. Кто-то из гостей даже порывался сходить к соседям за гитарой...

Теперь, после пресс-конференции, возле длинного стола, уставленного закусками и бокалами с вином, я, как и тогда на поминках у Лешиной бабки, ощутил прилив дивного добродушия. Фуршетный зал постепенно заполнялся людьми. Судя по всему, почти все, пришедшие на встречу с NN, воспользовались советом брюнетки-переводчицы и решили продолжить общение в неформальной обстановке за бутербродами и вином. Многих из них я хорошо знал. Это были журналисты, писатели, литературные критики, чиновники, работавшие в международном культурном центре. Некоторые стояли группами, облюбовав постоянное место возле какой-нибудь тарелки и выстроившейся шеренги бокалов, другие пускались в свободное плавание и, вооружившись бутербродами, перемещались по залу, выглядывая знакомых и ища, к какой бы группе присоединиться. Все улыбались, о чем-то оживленно говорили и пока-

зались мне вдруг такими милыми и приятными, что я почувствовал, будто нахожусь в кругу самых близких друзей. Какое-то время я радостно тряс руки знакомым, некоторых, кого давно не видел, обнимал, чуть ли не прослезившись, фамильярно шутил с ухоженными девушками, неизбежными на подобных мероприятиях, позировал вместе с друзьями-литераторами перед фотокамерами по просьбе журналистов, и даже познакомился с несколькими важными и нужными, как мне объяснили шепотом, людьми.

Немного об отечественной гуманитарной науке

На фуршете меня отозвал в сторону знакомый филолог, спортивного вида мужчина, примерно лет пятидесяти, с аккуратно подстриженной рыжей бородкой. Он был одним из основателей международного культурного центра, организовавшего встречу с NN, и долгое время занимал в этом центре административный пост. В конце 80-х мы близко общались. Он поинтересовался, как у меня дела. И, благосклонно выслушав, ласково попенял мне на то, что я-де редкий гость на их мероприятиях. Я в ответ отшутился и, в свою очередь, спросил, как поживают его жена и дочь, словно мне было до них какое-то дело. Узнав, что жена и дочь в Швейцарии, я тоном знатока заметил, что “сейчас там славно” и предложил за

это выпить. Улыбнувшись друг другу, мы легонько чокнулись бокалами, в которых плескалось красное вино.

Честно говоря, прежде я всегда сторонился представителей международного культурного центра и не откликался на их инициативы. Центр этот был основан где-то в начале 1990-х при содействии европейских спонсоров для поддержки, как было объявлено в газетах, отечественной науки. Городские власти разместили его в особняке, выселив оттуда какой-то никому уже не нужный математический институт. Центр тотчас же развернул активную деятельность. Был сформирован временный экспертный совет из ученых-гуманитариев, бывших в тени во время советской власти. Им назначили европейские зарплаты на период работы в центре и поручили провести экспертизу проектов соискателей, то есть, попросту говоря, поручили решать, кому выдавать деньги (тогда мы впервые услышали это магическое слово “гранты”), а кому в деньгах отказать. Деньги, разумеется, были распределены экспертами по справедливости — в основном между близкими друзьями и коллегами. На следующий год экспертный совет поменялся. В него вошли как раз те, кто выиграли грант в прошлом году, как имеющие опыт. Новые эксперты не забыли своих благодетелей и, в свою очередь, щедро одарили грантами прежних экспертов, которые на сей раз выступили в качестве соискателей. Прошел год, и они снова заняли места экспертов, и снова поддержали своих

друзей. И так они менялись местами на протяжении десяти лет. Организовано, как видите, все было замечательно: система никогда не давала сбоев, и деньги никуда на сторону не уходили. Кроме того, международный центр проводил ежегодную конференцию, в которой участвовали главным образом те, кто получали и выдавали гранты, а также приглашенные ими европейские знаменитости в области гуманитарных наук — как правило, те, через которых можно было выйти на международные фонды и привлечь дополнительное финансирование.

Мужчина, разговаривавший со мной на фуршетте, как раз и был одним из тех, кто стоял у истоков этого блестящего начинания в поддержку нашей науки. Он ласково приобнял меня, обдав запахом дорого французского одеколона, и сказал, что мне пора бы уделить им внимание — они, мол, заслужили — и на прощание протянул визитку — звоните, если надумаете.

Еще один антракт

Я так растрогался от этого щедрого и сердечного предложения, приятно сочетавшегося с бутербродами и французским вином, что едва успел промямлить слова благодарности.

Оставшись наедине с охватившим меня радостным умилением людьми, я вдруг вспомнил о бель-

гийском писателе, виновнике торжества, и принялся искать его глазами среди присутствующих. Обнаружил я его не сразу. Он стоял в противоположном от меня конце зала, прислонившись к массивной круглой колонне. В одной руке писатель держал бокал, а в другой бутерброд с чем-то красным, который он время от времени делал попытки надкусить, но всякий раз не успевал, потому что его отвлекали. Энергичная брюнетка-переводчица то и дело подводила к нему каких-то важных персон административного вида, жаждущих с ним познакомиться. Не успел я его пожалеть и съесть по этому поводу очередной бутерброд, как почувствовал, что сзади меня кто-то осторожно тянет за рукав. Антракт закончился.

О мужчинах, выбирающих женщин, и о женщинах, выбирающих мужчин

— Аствацатуров, привет!

Я обернулся и увидел, что мне протягивает руку полный, коротко стриженный мужчина, приблизительно моего возраста, в модном ярко-красном свитере и широченных джинсах. Знакомое лицо... Круглое, добродушное... Как у меня сейчас... Вот только кому оно принадлежит, хотелось бы...

— Не узнал? — весело спросил мужчина. — Зазнался, зазнался, брат. Витька Андреев. Пом-

нишь? Мы в одной школе учились, потом в эрмитажный кружок вместе ходили, потом на истфаке встречались.

— Господи, — говорю. — Витя! Прости. Голова дырявая стала. Да еще вино это... — я приподнял бокал.

— Да нет, ты ни при чем. Это я ряху себе нажрал.

С Витей мы не виделись лет, наверное, пять. Я его помнил студентом исторического факультета, тихим, худеньким, интеллигентным юношей в очках. Общаясь друг с другом, мы всегда начинали спорить по любому поводу, поэтому в гостях нас всегда рассаживали по разным концам стола. Потом пути наши разошлись. Мы перестали созваниваться и стали реже видеться. Спустя несколько лет от общих знакомых я узнал, что Витя забросил науку, начал писать политические обзоры и с головой ушел в журналистику, в которой весьма преуспел.

В студенческие годы Витя в силу природной застенчивости избегал девушек. Но по окончании университета он неожиданно для всех женился на ярко красившейся, крикливой девице по имени Кристина. Они случайно познакомились в овощном магазине, где Кристина работала продавщицей. Друзья говорили мне, что с годами Витя во многом перенял ее манеры, — этому способствовал и его карьерный рост, — сделался грубее и нахальнее.

— Ты здесь по работе? Интервью у него брать собрался? — я кивнул в сторону бельгийского писателя, по-прежнему стоявшего у колонны и пытающегося укунить свой бутерброд.

— Нет, — Витя удивленно нахмурил брови. Он даже не понял, о ком я говорю. — Я вообще то случайно здесь. Мне редактор назначил встречу. Сказал: приходи обязательно сразу к фуршету, будет модная туса, повидеешь кого-нибудь из старых друзей. И очень кстати. Видишь, тебя вот встретил.

— Как вообще дела? — спросил я.

— Да знаешь, — Витя отвел глаза и потянулся за бутербродом, — хреново, старикашка, дела у меня. С Кристинкой развожусь. Достала по самое вот это... — Витя провел тыльной стороной ладони под подбородком.

— И что? Теперь гуд-бай жилплощадь?

Витя посмотрел на меня в упор и шутиливо сказал:

— Твоя меркантильность, Аствацатуров, всегда меня...

— Моя? — перебил я его, деланно сердясь. — И это мне говорит человек, который за страничку получает восемьдесят долларов? Мне? Тому, который работает за жалкие гроши?

— Поэтому ты и меркантилен, — сказал Витя, заедая мой большевистский пафос бутербродом с рыбой, и добавил с набитым ртом: — Если бы у тебя было больше денег, ты бы, как я, думал о высоком.

— Ладно, — я махнул рукой. — В данную минуту, с непрожеванным бутербродом во рту, ты как никто похож на человека, думающего о высоком. Так что там с твоей квартирой? Подаришь ей?

— Да нет, — нахмурился Витя. Он, наконец, окончательно разделался со своим бутербродом. — Квартира здесь вообще ни при чем. Тем более, мы жили у нее. Нет, с этим как раз проблем не было. Я просто покидал в чемодан шмотки и свалил к родителям. Детей мы, слава тебе господи, не завели.

— Ну и в чем тогда проблема?

— Проблема, понимаешь ли, в том, что она не отстает. Развод отказывается давать. Ну да я своего добьюсь, ты же меня знаешь. Уже три месяца как уехал, уже новую бабу себе завел, а этой стерве все неймется. Недавно, представляешь, на работу ко мне приперлась. Хорошо, у нас там охрана стоит, два таких амбала, так они ее не пропустили. Так она полчаса стояла под окнами и вопила на всю улицу, что еще доберется до моей жопной дырки. Как тебе, кстати, это выражение? Запиши, пригодится. Теперь она мне на мобильник названивает и эсэмэски строит. То вернуться умоляет, то угрожает бандитами. Вчера, представляешь, прислала около двадцати сообщений. Я все читать не стал. Посмотрел только первое. Там было (тебе интересно?): “Витенька, я тебя люблю. Мне плохо. Приходи”. Остальные я не читал и сразу удалял. А потом открыл последнее, ну одно из последних, и читаю: “Слышь, ссыкло, рас-

слабь свое очко поганое. Сказала же — не трону”. Причем, Аствацатуров, что самое занятное, — это тебе, как филологу, на заметку, — слово “поганое” через два “н” написано.

Витя полез в карман за телефоном, чтобы продемонстрировать эпистолярные шедевры, присланные Кристиной, но я удержал его от этого, сказав, что верю на слово, и тут нет ничего удивительного, потому что женщины все одинаковы в своей переменчивости и непредсказуемости.

— И что этой суке было надо? — сокрушался Витя. — Почему она все время скандалила? Не понимаю... Я же все ей покупал — мебель, шмотки. В Турцию каждое лето возил. Даже в цирк с ней таскался... По ее, естественно, просьбе, ты же сам понимаешь, так что нечего ржать. И что ей теперь от меня надо? Зачем я тебе это все рассказываю?

“Не знаю, Витя. Я и не слушаю. Нельзя вглядываться в бессмыслицу, в бесконечность, в сердце тьмы, в старое, просящееся на помойку зеркало с облезшей амальгамой. Если взглянул — то все. Тебе крышка. Посмотрел ей в глаза — и сразу умер. Сошел с ума. Спрут поцеловал тебя в губы. Тебя укусил малярийный комар или энцефалитный клещ. Теперь ты камень, вызывающий омерзение, тошнотворная вещь в себе, точнее, вещь-в-ней, вымершая стеллерова корова, желтый карлик, ртутная торичеллева пустота, крылоногий Персей, проигравший первую же схват-

ку с Горгоной. Не будь кретином, не подымай веки, не отвечай на ее звонки, сотри ее письма. Убей...”

— Не знаю, Витя. Ей, наверное, не хватало внимания. Им всегда его не хватает. Но сейчас тебе лучше держаться от нее подальше. А вообще-то...

Тут наш разговор прервала рослая блондинка, стоявшая до этого рядом, спиной к нам. Она повернулась, и глубокий вырез ее красного вечернего платья явил мне и Вите пышное великолепие молочных форм. Я осекся на полуслове.

(“Тебе чего, лошадь?”)

— Андрей Алексеевич! Здравствуйте! Вы нам в прошлом году лекции читали, — пропела она, встретив наши удивленные взгляды, и, поправив волосы, насмешливо поинтересовалась: — Надеюсь, вы меня помните? Мне Сэлинджер на экзамене попался.

Я смутился. Нет, я не помнил, и, судя по выражению на лице блондинки, угадавшей мою забывчивость, это было явным свинством.

— Меня Алена зовут.

— Алена, — зачем-то повторил я. — А это Витя, мой старый друг.

Витя буркнул в ответ что-то нечленораздельное, что, мол, таких как ты, Аствацатуров, друзей — за одно место да в музей, и взял с тарелки очередной бутерброд.

Алена коротко кивнула ему и тут же снова повернулась ко мне:

— Я ваши лекции слушала на филфаке.
Мне пришлось в ответ вежливо улыбнуться.
Пауза.

— Мы здесь вдвоем с мужем.
("От счастья бы не обосраться...")

Последовала пауза, еще более долгая, чем предыдущая.

— А кто у нас муж? — игриво спросил я, неожиданно почувствовав, что для продолжения беседы и, главное, для ее скорейшего окончания от меня потребуются некоторые усилия.

— Он американец. Американский дипломат, — обрадовалась продолжению разговора девушка Алена. — Раньше он в Швейцарии работал, а теперь вот здесь. Мы месяц назад поженились.

("Вот оно, значит, как".)

Разговор явно придавал ей уверенность в себе.

— Хотите, я вас познакомлю?

("Дрожу от нетерпения".)

Я, разумеется, хотел. Тем более, это заманчивое предложение прозвучало не как вопрос (вопросительный знак я оставил как память об уроках русской грамматики в школе, которые я ненавидел всем своим подростковым сердцем)... оно прозвучало не как вопрос, а было произнесено приказным тоном человека, долгое время находившегося на ответственном посту руководителя и привыкшего отдавать распоряжения.

Алена отошла и буквально через несколько секунд вернулась под ручку с высоким пожилым господином. На вид господину было лет шестьдесят. Не меньше. Алене он скорее годился в дедушки, чем в мужья. Седые волосы, аккуратно уложенные и обильно обработанные гелем, строгий дорогой костюм, галстук-бабочка и толстый перстень на мизинце правой руки, которую он тотчас же мне протянул, покровительственно улыбнувшись.

— Мой муж, Брайен Томпсон, — торжественно сказала Алена.

— Andrey, — ответил я, улыбнувшись в ответ. — Nice to meet you, Mr. Thompson*.

— Brian, just Brian**, — замахал руками мистер Томпсон.

Витя тоже поздоровался. Мистер Томпсон, точнее, Брайен, подал руку и ему, все с той же улыбкой.

Дальнейший разговор, во время которого Витя ел бутерброд, происходил на английском.

— Вы в университете преподаете? — вежливо осведомился мистер Томпсон.

("Тебе не все равно? ...Странные все-таки у некоторых животных имена... обидные какие-то... "козел", "выхухоль", "вомбат", "морж", а вот у птиц, наоборот, величественные: "орел", "фламинго", "журавль", "лебедь". Несправедливо это".)

* Андрей. Приятно познакомиться, мистер Томпсон (англ.).

** Брайен, просто Брайен (англ.).

— Пока да.

— Пока? — удивился мистер Томпсон.

(“Если я когда-нибудь заведу себя попугая, то непременно назову его “Тузик”, чтобы все по-честному”.)

— Зарплата маленькая.

— Да, — вздохнул он. — Но ведь теперь у вас есть частные колледжи, гранты...

— Не для всех. По крайней мере, не для меня.

Разговор едва начался и тут же почему-то вдруг начал меня раздражать. Во всяком случае, продолжать его у меня не было никакого желания. Мне захотелось снова вернуться к еде и вину. Я беспомощно оглянулся на Витю. Он невозмутимо дожевывал очередной бутерброд и, судя по выражению на его лице, готов был приступить к следующему.

— Андрей был нашим любимым преподавателем, — встряла Алена. — Я тебе, Брайен, о нем рассказывала. Помнишь?

(“Да плевать я на вас обоих хотел, морды ослиные. В туалет хочется”.)

Мистер Томпсон ласково улыбнулся ей в ответ и развел руками — получилось очень гостеприимно.

— Ну, ребята, — сказал он, театрально выдержав административную паузу. — Мы вас теперь оставим. Нас с Аленой ждет одна важная встреча.

(“Уф! Вали уже на свою встречу. И лошадь свою уводи. Нет, стоят как вкопанные. Когда же они сдристнут отсюда?”)

— Приятно было познакомиться, — произнес, наконец, мистер Томпсон. Он легонько пожал мне руку и на прощание дружески добавил, видимо, желая показаться особенно любезным: — Спасибо, Андрей, за то, что воспитали для меня такую замечательную девочку.

(“На здоровье, придурок”.)

— Обращайтесь еще к нему, — саркастически пошутил Витя и, толкнув меня плечом, добавил уже по-русски: — Он вам подгонит еще, подлинней, помоложе.

(“Дурак.. Зачем?”)

Алена вспыхнула и хотела было что-то сказать, но сдержалась.

Молодожены отошли в сторону и влились в кружок, состоящий в основном из похожих друг на друга мужчин в костюмах.

— Будь я на ее месте, — ехидно заметил Витя, кивнув в их сторону, — я бы попробовал его поцеловать. Вдруг старая жаба в прекрасного принца превратится?

— Слушай, Витя, — сказал я очень спокойно. — Ты просто много выпил и мало ел. Может, он и вправду жаба, но она здесь ни при чем.

Витя усмехнулся и дружелюбно похлопал меня по плечу.

— А ты, Аствацатуров, все такой же. Ни капельки не изменился. Сейчас разведешь свою марк-

систскую бодягу, которую ты в книжках вычитал, про среду и про общество. Потом скажешь, что у нас в России настоящих мужчин не осталось..

— Это тоже, — отозвался я, проигнорировав его иронию. — Но, возможно, женщины просто так устроены..

— Как устроены? — хохотнул Витя.

— Ну... — я немного смутился и говорил неуверенно. — Устроены так, что тянутся к биологически активным особям другого пола.

— Или своего пола, — перебил меня Витя. — Ты как-то забыл о таком маленьком нюансе.

— Неважно..

— Неважно?! — вспыхнул Витя. — О чем ты вообще говоришь? Какая биологическая активность?! Этот старый пень на ладан дышит. Ему давно на кладбище прогулы проставляют!

Витин напор всегда заставлял меня решительнее обороняться. А его раздражительность только придавала моему голосу спокойствие.

— А если это любовь? — предположил я.

— Да пошел ты..

— Во-первых, — проигнорировал я Витину невоспитанность, — он еще на наших похоронах пламенную речь произнесет, да так, что все разрыдаются. А во-вторых, биологическая активность в том мире, где мы с тобой, Витя, живем, определяется степенью социального успеха. Этот старый пердун успешен — вот в чем дело.

Я приподнял бокал, приглашая Витю присоединиться и выпить со мной.

— Ну и черт с ним, — согласился Витя, почему-то внезапно повеселев. — Давай-ка лучше выпьем. И поедем заодно. Смотри, как эти твои биологически активные особи на бутерброды нацелились. Того и гляди нам ничего не останется. Ты ведь, Аствацатуров, не болтать сюда пришел.

— Это уж точно.

Мы немного поели, выпили вина, вспомнили общих знакомых и скоро распрощались. Явился, наконец, Витин редактор, и они, отойдя к огромному окну с широкими подоконниками, принялись о чем-то горячо спорить.

Еще немного о женщинах и о мужчинах

Я так увлекся описанием фуршета, что совершенно забыл о главном действующем лице, бельгийском писателе NN. Попутно хотел бы заметить, что это лицо — я вам его уже описал — каждой своей чертой просто обречено на то, чтобы быть забытым. Я, помнится, оставил NN у мраморной колонны, возле которой он стоял, тщетно пытаясь укусить бутерброд.

Теперь попробуем вернуть нашего персонажа в то самое место действия, откуда его столь бес-

пardonным образом выставили. То есть я сам его и выставил. Ну что же. Ошибки надо исправлять. Повествователь может кого-то потерять, что-то упустить из виду, что-то как следует не разглядеть, но автору, даже начинающему, такое совершенно непозволительно.

После того как Витя меня покинул, моим вниманием завладела брюнетка-переводчица, которая, представившись Эммой (“А вы, как я понимаю, Андрей? — Правильно понимаете”), сказала, что хочет познакомить меня с NN.

— Прямо сейчас? — спросил я, плохо скрыв отсутствие энтузиазма.

— Не обязательно, — деловым тоном ответила Эмма. — Завтра мы все ужинаем в ресторане гостиницы “Октябрьская”. В семь часов. Приходите. Там и познакомитесь.

— А как..

— На входе, — поморщившись, перебила она меня, — скажете, что идете на ужин по приглашению международного культурного центра. Вас пропустят и проведут к нашему столику.

— Спасибо, Эмма. Но, вы знаете, проблема в том, что мы с ним вряд ли сможем пообщаться. Я ведь не говорю по-французски.

— Пустяки, — махнула она рукой. — Прекрасно сможете. NN знает английский. Приходите. Будет интересно.

Эмма ошиблась. Или соврала. Интересно не было. Ничуть. Хотя NN и в самом деле довольно сносно объяснялся на английском. Никто из присутствующих за ужином (нас оказалось человек десять) решительно не мог взять в толк, о чем с ним разговаривать. Мы пытались подобрать подходящую тему, чтобы как-то развлечь гостя, но все наши усилия были напрасны. Проще, наверное, было заставить заговорить солонку на столе. NN почти не реагировал на реплики собеседников. Он большей частью молчал и вяло ковырялся вилкой сначала в салате, а затем в мясном рулете. Иногда он принимался курить сигареты, очень вонючие, и при этом рассеянно озирался по сторонам, разглядывая людей за соседними столиками и останавливаясь на женщинах чуть дольше, чем того требовало приличие. Лицо его на протяжении всего вечера сохраняло выражение скучной покорности человека, которого провидение заставило вопреки его воле постичь все тайны мира, открыть все двери, проплыть моря (да что там моря — океаны!), прожить несколько жизней, сорвать у голубой реки мистический цветок, умереть и вернуться подобно эпическому герою из мира мертвых. Его взгляд словно говорил: все в мире опознано, названо, пронумеровано, и люди ничуть не изменились за те несколько тысячелетий, что я их знаю.

Однако я заметил, что с каждым выпитым бокалом литературный мэтр делался оживленнее и

все чаще подавал реплики. Он начинал напоминать ребенка с замедленным развитием речи, который попал в кабинет опытного педагога-логопеда и стал делать успехи. Но к этому моменту ужин уже всех порядком утомил. Известный издатель с супругой и два журналиста вежливо откланялись. Остальные тоже собирались уходить. Посреди общего разговора, вялого и явно подходившего к концу, NN неожиданно повернулся к Эмме и что-то тихо сказал ей на ухо. Я сидел рядом с ней и на всякий случай отодвинулся, чтобы никто не заподозрил, и прежде всего высокий гость, будто я люблю совать нос не в свои дела — а я ведь и впрямь это люблю (кто ж не любит?). Эмма, заметив мои неловкие телодвижения, слушая NN, сделала мне знак рукой, подзывающий и дающий понять, что их беседа решительно не носит никакой интимности. Покивав писателю и что-то быстро по-французски шепнув ему в ответ, Эмма обратилась ко мне:

— Андрей! Тут наш гость, — она широко улыбнулась, — выразил желание погулять по городу. В компании гида ему почему-то неинтересно. Видимо, нужно что-то менее формальное. Может, вы согласитесь с ним пройтись? Завтра, например. Если у вас, конечно, есть свободное время. Знаете что, Андрей, — оживилась она, — садитесь-ка на мое место. Поговорите с ним сами. А я пока пойду к администратору, рассчитаюсь.

Я, мысленно вздохнув, подсел поближе к NN и всем своим видом выразил заинтересованность.

— Мне Эмма сказала, что у вас найдется немного времени, которое вы мне могли бы уделить? — вежливо осведомился писатель.

— К вашим услугам, — ответил я, улыбнувшись. — Можем погулять, пройтись по центру... там, где вы еще не были.

На лице моего собеседника появилось выражение растерянности.

— Сходить куда-нибудь... — неуверенно добавил я.

— Куда? — NN иронично и одновременно обреченно наморщил лоб.

— Куда хотите... Можно в Эрмитаж... Ненадолго, разумеется, — поправился я, снова встретив его ироничный взгляд. — Были уже там?

— Нет, не был, — ласково отозвался он, глядя на меня не отрываясь.

— Ну, тогда, может, в филармонию или в джаз-клуб?.. — я смущенно пожал плечами.

— Андрей! — добродушно обратился он ко мне, продолжая улыбаться. И тут только я заметил, что он сильно пьян. — Андрей!

— Да? — отозвался я.

— Пойдем туда, где девочки.

Я отпрянул от неожиданности. Последние гости, кивая нам на прощание, шли через зал мимо

других столиков в сторону гардероба. Эмма стояла неподалеку, повернувшись к нам спиной, и разговаривала по мобильному телефону.

— Не стоит, — это все, что я сумел выдать из себя.

— Почему, Андрей? — дружески спросил он. — Почему? Эрмитаж ваш этот... филармония... Все интересно. Но, — тут он громко икнул, — простите, Россия ведь не этим славится?

— А чем? — собравшись с духом, поинтересовался я.

— Девочками.

— Кто это вам сказал?

Видимо, либеральные реформы и последовавший за ними период стабильности окончательно закрепили авторитет России как страны, способной предложить миру исключительно только самые полезные вещи: нефть, газ и девочек.

— Не важно, кто, — отмахнулся NN. — Give a shit!* Не хотел вас обидеть. Просто мне показалось, вы не производите впечатления патриота. Знаете, — воодушевился он, — такой опыт в моем возрасте как-то стимулирует. И, между прочим, оживляет отношения с женой. Как вы думаете, о чем писал Гоген Ван Гог?

— Мне пора, — сказал я и поднялся.

* Забудьте, бросьте! (англ.)

— Он ему советовал побольше совокупляться. А Ван Гог советом не воспользовался. А чем это все закончилось, мы с вами знаем. Не сердитесь, — NN взял меня за руку.

Я сел обратно на свое место и сказал вполголоса:

— В Питере это небезопасно.

— А что? — встревожился он. — Деньги могут украсть?

— Не только. У нас был случай, проститутка, уходя, прихватила с собой штаны клиента и его вставную челюсть.

NN озадаченно почесал в голове.

— И что, поймали?

— Кого? — переспросил я.

— Ну, эту проститутку?

— Кажется, да. Но штаны и челюсть клиент получал уже в консульстве.

NN поежился:

— А если по знакомству? Чтоб без проблем?

— Среди моих знакомых таких девушек нет, уввы, — сказал я.

— Может быть, — согласился он, — только вот та, похоже, вас знает.

Я обернулся в ту сторону, куда он показывал.

— Вон там, — подсказывал NN, — у окна, в пластиковой короне.